Глава 1

Над дубовыми дверями особняка, что красовался в начале Пречистенской улицы, уж который раз за последний месяц меняли вывеску. Вернее сказать, теперь это была даже не вывеска, а красный кумач, на котором белой краской слегка кривовато, но решительно вывели странное сочетание букв высотой в пол-аршина: «ОТАГКУЛЬТиБОРАНРПР».

В процесс приколачивания полотнища было вовлечено три человека.

Первый, очевидно старший в этой компании, явно проникся значимостью своего руководящего положения в таком ответственном деле, как замена вывески. Он с хмурым видом расставил ноги на ширину плеч, засунул большие пальцы рук за широкий ремень и, задрав голову, наблюдал за своей командой, балансирующей на двух садовых лестницах, приставленных к фасаду. Этому человеку было немногим за тридцать, но его желтое, изможденное приобретенной на каторге чахоткой лицо и болезненная сутулость, которую не могла скрыть жесткая, широкая в плечах кожанка, добавляли ему лет двадцать.

Команда чахоточного комиссара состояла из пятидесятилетнего крепкого мужика в исключительно добротной армейской форме и совсем молоденького морячка в убитых сапогах, латаных штанах, грязной тельняшке и вытертом до блеска бушлате с наполовину ободранными пуговицами. Красноармеец имел вид ушлый и вредный, какой бывает свойственен деревенским смутьянам, матросик же, напротив, выглядел малым добродушным и простоватым.

— Ну, чаво тянешь?! Чаво тянешь, говорю! — покрикивал на своего подручного старший из двух.— Не видишь, шоль, перекосило транспарантину!

Приладив свой угол, красноармеец принялся его приколачивать, но тут резкий порыв беспокойного апрельского ветра рванул алое полотнище из рук. Не желая опрокинуться вместе с лестницей, мужик выпустил транспарант, и тот, выдергивая вместе с кусками штукатурки ряд гвоздей, мотнулся в сторону морячка и накрыл его с головой.

— Дядя Егор! Ты что ж отпустил-то?! — взвыл молодой человек, бившийся в кумачовых путах, из которых никак не мог освободиться.

— То-оварищ Муромов! Эт-то еще что за «дядя»?! — грозно отчеканил комиссар и болезненно закашлялся.— Немедленно прекратите эту мещанскую контрреволюцию! Не за тем мы буржуазную сволочь били, чтобы потом своих боевых товарищей «дядями» называть!

— Ой! Это я случайно, товарищ комиссар! — принялся оправдываться матросик, продолжая неравную борьбу с полотнищем и ветром.— Я хотел сказать: почто конец кидаешь, товарищ Афанасьев! Трави давай!

Так и не дождавшись ни от кого помощи, товарищ Муромов, чудом не сверзившись с лестницы, исхитрился-

таки наконец вынырнуть из-под кумача. В это самое время к особняку подходила осанистая дебелая тетка с широким миловидным лицом и бойким взглядом. Одета она была в темное шерстяное платье и суконную, отороченную облезлой кое-где белкой жакетку, на голове у тетки красовался яркий елисеевский платок, повязанный на городской лад.

— Тьфу ты! Черт окаянный! — в сердцах крикнула прохожая, шарахнувшись от алого кокона, внезапно обретшего молодую взлохмаченную голову.— Напугал-то как!

— Простите, Настасья Варфоломеевна! — добродушно и весело отозвался морячок.— Вот! У нас тут теперь такое уч-ре-ж-де-ние будет.

Слово «учреждение» молодой человек проговорил по слогам и аж губами причмокнул, так ему нравилось звучание этого нового для него, солидного и одновременно воодушевляющего слова.

Тетка остановилась, сурово сдвинула брови, уперла левую, свободную от увесистой корзины руку в бок и принялась наблюдать, как, нарочито кряхтя и охая, товарищ Афанасьев спустился с лестницы, подхватил свой край полотнища и снова полез наверх прилаживать его к стене.

— Нечего стоять, гражданочка! Проходите! — грозно приказал комиссар.

Но он не на ту напал. Мощная, что твой крейсер, Настасья Варфоломеевна грозно надвинулась на чахоточного.

— Это что ж? — ядовито спросила она.— Новый декрет, что ли, вышел, что нельзя стоять и смотреть?.. Хочу и смотрю! И ты мне, гражданин-товарищ, не указ!

Красноармеец и морячок тем временем развернули и натянули транспарант.

— От-аг-культ... — принялась читать Настасья Варфоломеевна.— Фу ты! Околесица! Не разобрать!.. Только стену попортили вконец!

С этими словами она презрительно отвернулась от происходящего и гордо поплыла в сторону флигеля, примыкавшего к особняку со стороны бульвара.

— Вот контра! — прошипел товарищ Афанасьев, завистливо погладывая на корзину у тетки в руках.— Небось графу свому харчи понесла... Ничего!.. Уж мы еще угнетателя ентого растасуем...

Пречистенский особняк, определенный теперь под учреждение, название которого скрывалось под загадочной аббревиатурой ОТАГКУЛЬТиБОРАНРПР, до октябрьского переворота 1917 года был фамильным гнездом графа Дмитрия Николаевича Руднева-Салтыкова-Головкина, но первым же указом какого-то не пойми какого комиссариата или комитета — шут его разберет! — был экспроприирован под нужды исполнительных органов новой рабоче-крестьянской власти. Обитателям особняка — хозяину, управляющему и штату прислуги из более чем десяти человек — было приказано в двадцать четыре часа освободить бóльшую часть дома и переселиться в маленький двухэтажный флигель, основную часть которого занимала художественная мастерская Дмитрия Николаевича, до революции известного и модного художника-модерниста, писавшего в изысканном стиле английских прерафаэлитов.

Страшные и горькие это были двадцать четыре часа, а еще страшнее оказались многие часы, дни и месяцы после. Революционная стихия не пощадила красивый и уютный особняк с милым ухоженным садом. В его комнатах хозяйничали комиссары, солдаты, матросы, пролетарские комитеты и прочее... прочее... прочее. Парадную лестницу, паркет и ковры затоптали грязными сапогами, заплевали и усеяли окурками, шелковые обои порвали штыки упиравшихся в них винтовок, китайские вазы на лестницах и хрустальные плафоны люстр переколотили, печи разбили и заменили буржуйками, половину водопровода по неведомой причине срезали, уборные загадили, бархатные портьеры и атласные покрывала пустили на портянки. Невостребованная под присутствия мебель из красного дерева сгорела в печи вместо дров, на растопку также пустили старый рояль и половину вековых деревьев их сада, а газон и клумбы оказались объедены и вытоптаны расквартированными там лошадьми.

Все не унесенное хозяевами и оставшееся в доме графское добро — картины, часы, художественные безделушки, сервизы, кухонная и хозяйственная утварь, постельное белье, одежда — все это исчезло из особняка за пару дней, не то национализированое, не то попросту расхищенное неизвестно кем. А добра такого оказалось в богатом графском доме ох как немало, ведь в отпущенные на выселение сутки слуги вынесли лишь самое необходимое, а сам хозяин и его управляющий потратили время на перетаскивание во флигель многотомной и бесценной библиотеки, собранной стараниями нескольких поколений Рудневых и Салтыковых-Головкиных.

Революционный матрос товарищ Муромов был одним из тех, кого приставили следить за бывшим графом, ныне

гражданином Рудневым, и его людьми, дабы контрреволюционный элемент и несознательные еще пока, но уже освобожденные пролетарской революцией трудящиеся не вынесли из дома лишнего и не попрятали бы ценности, теперь уже общенародные. Молодого человека крайне удивлял тот факт, что бывший барин и его то ли секретарь, то ли управляющий, оба с застылыми, бледными, но не растерянными и испуганными, а, скорее, отчаянными и осатанелыми лицами взялись выносить книги. Будучи по натуре своей человеком участливым и добрым, товарищ Муромов даже решился вмешаться в странное это действие.

— Товарищ граф,— сказал он, нимало не смущаясь ни странностью такого обращения, ни декретом об уничтожении сословий и гражданских чинов,— почто вы этот хлам-то носите? Вы бы, гражданин, лучше керосинку забрали или вон ту бабу бронзовую. На муку иль, поди, на картошку бы обменяли. А книги что? Да и куда их столько?

— Читать! — хмуро бросил в ответ Дмитрий Николаевич.

— Да разве ж столько прочесть?! Жизни не хватит!

— А я долго жить собираюсь! — огрызнулся бывший граф.

Матросик добродушно засмеялся и отложил из стопки совсем ветхую книжонку, на титуле которой значился 1674 год.

— Ну, а это-то старье, гражданин Руднев, на кой ляд вам сдалось? Оставьте на растопку. Мы новых книг понапишем.

— Сначала напишите! — лязгнул зубами Дмитрий Николаевич и отобрал у парня книгу.

Тот не обиделся и не рассердился, а лишь с растерянностью и непониманием посмотрел на своего странного озлобленного собеседника.

— Как знаете... — промямлил он смущенно и отошел в сторону.

Замешательство революционного матроса и проявленное им перед тем искреннее участие, пусть и нелепое, неожиданно тронуло что-то в заледенелой душе Руднева.

— Вы читать умеете? — спросил он молодого человека.

— Умею! — оживился тот.— У нас на «Полтаве»... Так линкор называется, где я служил... Там у нас капераНг [1] вроде вас был, тоже уж больно книги любил и две библиотеки держал: офицерскую и для младших чинов. Я там мно-огое перечитал. Про путешествия все больше...

Дмитрий Николаевич порылся в стопке книг, вынул одну и протянул матросу.

— Возьмите. Думаю, вам понравится.

— Жюль Верн,— прочел товарищ Муромов на обложке,— «Дети капитана Гранта»... Ух ты! Про морского капитана?

— Да. Это приключенческий роман про путешествие по разным морям и землям.

— Не про буржуев? — засомневался политически подкованный революционный матрос.

Дмитрий Николаевич пожал плечами.

---

[1] *КапераНг* — на морском жаргоне «капитан 1 ранга», в данном случае имеется в виду звание командира линкора.

— Не про пролетариев, конечно, но герои этой книги были сторонниками освобождения Шотландии от гнета империалистической Англии.

— Значит, про нашего брата! Про интернационал! — совсем обрадовался молодой человек.— Спасибо вам, товарищ граф!

Руднев только головой покачал в ответ и снова принялся спасать библиотеку. Ему вдруг припомнилось, как за этот самый роман, а вернее за то, что читал его втихаря ночью в постели, затащив под одеяло масляную лампу, крепко выбранил его, девятилетнего барчонка, старый добрый слуга Тимофей Кондратьевич. Славу богу, старик не дожил до этого дня и не увидел разорения гнезда своих господ, которым он преданно служил много-много десятков лет.

Господь призвал к себе Тимофея Кондратьевича тихо и мирно, во сне, когда тому виделся светлый и радостный сон, как сидит он в барском садике, а вокруг резвятся семеро барчат: четверо сероглазых светловолосых вихрастых сорванцов-мальчишек и три проказницы-девоньки с огненно-рыжими косичками, золотыми веснушками и задорными темными глазами. И хоть не было суждено старику понянчить отпрысков своего ненаглядного барина, он, по крайней мере, упокоился подле могилы господ в блаженном неведении о надвигавшейся катастрофе, в которой разрушился навсегда мирный уклад Пречистенского особняка.

На следующий день после скоропалительного переезда во флигель заявился весь одетый в кожу комиссар в сопровождении двух армейских с винтовками. Грубо отпихивая попадавшиеся под ноги тюки, чемоданы и всякие свален-

ные кое-как на полу вещи, представитель новой власти прошествовал через потерянное собрание графской челяди, расступившейся перед ним, словно воды Красного моря перед Моисеем.

— Где гражданин Руднев? — сухим трескучим голосом спросил комиссар, не обращаясь ни к кому конкретно.

Чья-то рука робко указала в сторону мастерской. Кто-то ахнул и всхлипнул. На него зашикали.

Игнорируя все это, комиссар двинулся в означенном направлении, с нарочитым грохотом распахнул прикрытую дверь и твердой поступью вошел в святая святых художника Руднева, куда до того дня не смел без дозволения хозяина явиться ни один из обитателей особняка.

В мастерской двое опрятных, хорошо одетых мужчин раскладывали вдоль стен многоярусные стопки книг.

Один был помоложе, лет тридцати пяти-сорока, щуплый, невысокий, светловолосый, с большими туманно-серыми глазами, во взгляде которых читалась нечеловеческая усталость. Лицом этот тип был по-барски красив, и из буржуйского, видать, шика носил шевелюру чуть не до плеч и замшевую перчатку на правой руке.

Второй, возрастом за сорок, высокий и худой, с суровым аскетическим лицом, чем-то неуловимо напоминал иностранца. Его зеленоватые глаза смотрели на комиссара так, что в душе у того брямкнула тревога, как, бывало, коротко звякал колокольчик в дверях кондитерской лавки на Пречистенском бульваре, которая уж больше месяца была оставлена съехавшим в неизвестном направлении хозяином.

— Кто из вас гражданин Руднев? — резко и властно спросил человек в коже.

Находившиеся в комнате оставили свое занятие и тягостно переглянулись.

— Я,— ответил тот, что был в перчатке.

— А вы кто? — обратился комиссар ко второму.

— Я Белецкий,— отозвался высокий.— С кем имеем честь?

От этакой старорежимной формулировки комиссар поморщился, словно лимон надкусил.

— Я — уполномоченный комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Меня зовут товарищ Балыба.

— Чем обязан? — задал вопрос Руднев, и уполномоченный Балыба безошибочно уловил в тоне бывшего графа с трудом сдерживаемую враждебность.

— Предъявите ваши документы, гражданин Руднев! — приказал комиссар.

Дмитрий Николаевич вынул из внутреннего кармана паспортную книжку с двуглавым орлом и сложенный вчетверо листок простой писчей бумаги с целым букетом печатей и штемпелей, выданный ему в марте 1917 года представителем народной милиции и подтверждающий, что он, гражданин Дмитрий Николаевич Руднев такого-то года рождения, действительно проживает по улице Пречистенке в доме номер таком-то.

— Вы тоже документы покажите! — коротко бросил Балыба Белецкому, не отрываясь от въедливого штудирования рудневского паспорта.

Белецкий протянул уполномоченному аналогичный набор из справки и книжицы с царским гербом.

— Фридрих Карлович,— прочел комиссар.— Вы немец? А фамилия почему русская?

— Отец был немцем,— сдержанно, но натянуто объяснил Белецкий.— Приехал служить в Россию и остался. Женился на русской и взял русскую фамилию.

— У вас указан тот же адрес проживания, что и у гражданина Руднева. Вы его родственник? — продолжал сухо интересоваться Балыба.

— Нет, я секретарь и управляющий делами Дмитрия Николаевича.

— Секретарь, значит,— гнусно усмехнулся комиссар и вернул Рудневу с Белецким документы.— А где, граждане, ваши мандаты о несении трудовой повинности?

— Что? — Дмитрий Николаевич выговорил свой вопрос так, будто камень уронил.

— Все представители буржуазных сословий обязаны нести трудовую повинность и иметь о том соответствующую бумагу,— отчеканил Балыба.

— Вы же сословия и чины отменили,— процедил Руднев.

— Бывших буржуазных сословий и бывшего дворянства,— поправился комиссар.— Так где вы работаете, гражданин Руднев?

— Здесь работаю. Это моя мастерская. Я художник.

Одетый в кожу уполномоченный презрительным взглядом пробежал по оконченным и неоконченным полотнам, на которых красовались прекрасные томные женщины, средневековые рыцари в латах, паладины, афиняне, колдуны, античные боги, сатиры, нимфы, драконы и прочая тому подобная контрреволюционная публика.

— Это ваше декадентское ремесло не может рассматриваться как труд на благо пролетарской республики,— заявил он.— Равно как и должность частного секретаря.

Даю вам сроку два дня. Если за это время вы, граждане, не получите мандаты о трудовой повинности, я выселю вас из предоставленного вам советской властью помещения.

Лицо Дмитрия Николаевича исказилось гримасой неистовой злобы, от ярости у него аж дыхание перехватило.

— Это мой дом! — хрипло выкрикнул он и сделал движение в сторону комиссара, но Белецкий тут же схватил его за руку повыше локтя и стиснул так, что Дмитрий Николаевич от боли опомнился и замер.

— У вас два дня,— недобро улыбаясь, повторил Балыба и, скрипя кожей, покинул флигель вместе с армейскими.

Едва шаги представителей новой власти удалились от двери, Руднев схватился за голову и со стоном, переходящим в звериный рев, опустился на пол, где затих в скорбной позе. Белецкий шарахнул кулаком по стене и прорычал по-немецки нечто непереводимое, но, очевидно, чрезвычайно грубое. Потом вдруг резко метнулся из мастерской и, вернувшись через несколько минут, сунул что-то в руки Дмитрию Николаевичу.

— Anziehen! (Надевайте!) — велел он тоном, не терпящим возражений.

Руднев поднял глаза на своего секретаря, являвшегося на деле его верным другом еще с детства.

— Белецкий, ты что, рехнулся? — простонал он, увидев, что друг протягивает ему фехтовальную маску и держит под мышкой две рапиры.

— Надевайте, говорю вам!

— Нашел чем заняться! Самое время!

— Все лучше, чем предаваться унынию или лелеять в душе бессмысленный гнев!

Белецкий рывком поставил Дмитрия Николаевича на ноги и всучил-таки ему в руки маску.

— Ты серьезно, Белецкий?

— А бывало иначе?

Иначе у Белецкого не бывало никогда. По крайней мере в отношении физических тренировок, которыми он еще со времен, когда служил при юном Дмитрии Николаевиче воспитателем, всю жизнь донимал Руднева, отнюдь не склонного к атлетическим занятиям.

Руднев смирился и поплелся за Белецким в сад, где на глазах у изумленных слуг и обалдевших революционных матросов они с яростной одержимостью фехтовали до тех пор, пока держали ноги.

На следующее утро с прояснившимися после давешней тренировки мозгами Руднев с Белецким отправились добывать мандаты, которые бы подтвердили, что нынче оба они вовсе не буржуазные паразиты на теле революции, а самый что ни на есть трудовой элемент. И, как ни странно, до определенной степени это соответствовало действительности.

До провозглашения революцией принципов социальной справедливости граф Руднев-Салтыков-Головкин был исключительно богат. Он и сам толком не знал, сколько ему принадлежит земли, лесов, заводов, сколько у него на счетах денег и сколько еще капитала в ценных бумагах. Всеми этими меркантильными вопросами заведовал имевший недюжинную деловую хватку Белецкий, который также организовывал выставки и продажи рудневских картин. Их ценили люди с высоким вкусом и приличным достатком, готовые вполне щедро платить за неординарный стиль и непринужденное мастерство кисти Дмитрия

Николаевича. Уже этих гонораров вполне хватило бы Рудневу на безбедную жизнь, поскольку, хоть и имел он нескромные привычки к абсолютному комфорту, изысканной еде и дорогому платью, за ним не водилось пристрастий ни к светской жизни, ни к игре, ни к чему-либо подобному, что можно было бы хоть в какой-то степени назвать мотовством. В силу этакого своеобразного аскетизма Дмитрий Николаевич не сразу ощутил на своей шкуре, что в одночасье лишился не только обращения «ваше сиятельство», но и всего своего дохода, оставшись лишь при тех деньгах и фамильных драгоценностях, которые поспешил надежно припрятать быстро сориентировавшийся в революционной ситуации Белецкий. Иссякли и гонорары, ведь всем было не до романтических полотен.

Когда же через пару месяцев после крушения царской России Рудневу стало очевидно, что содержать себя, свой дом и своих людей — последнее он считал непременным долгом барина — можно лишь за счет недальновидного в условиях социальных потрясений растрачивания схороненных ценностей, он решил найти для себя хоть какой-то приемлемый источник заработка и с этой целью сошелся с неким господином, вернее, теперь уже гражданином Толбухиным, знакомым ему по старым, канувшим в небытие спокойным временам.

Сергей Александрович Толбухин был антрепренером, который вместе со своим творческим сотоварищем Альбертом Романовичем Версальским прославился неординарными экспериментами в сфере театрального искусства. Они делали шокирующие постановки Еврипида, Боделя, Шекспира, Бомарше, Фонвизина, Пушкина, Островского, Чехова, Горького и прочих мэтров мировой и российской

драматургии, искренне считая, что придают замшелым пьескам актуальный лоск и современное звучание. От этих их новаторских сценических форм покойные классики переворачивались в гробах, а ныне здравствующие, случись им побывать на спектакле, не узнали бы своих произведений, однако Толбухин и Версальский имели немалую популярность и целую армию почитателей, которая значительно пополнилась с тех пор, как «Марсельеза» заменила собой благословенное произведение Алексея Федоровича Львова [1].

Судьба случайно свела Руднева с этими театральными светилами при обстоятельствах, надо сказать, скорбных и не имевших прямого касательства к Мельпомене,[2] но связала их, хотя и против воли Дмитрия Николаевича, намертво. Настырный и беспардонный Сергей Александрович прилип к художнику-романтику словно банный лист и, как говорится, не мытьем, так катаньем сподвиг того на творческое сотрудничество, результатом которого стали декорации и эскизы костюмов для нескольких Толбухинско-Версальских феерий.

Сам Дмитрий Николаевич, в плане театра имевший вкус весьма консервативный, вплоть до описываемых выше событий 1917 года не очень-то стремился крепить творческий союз с разрушителями мещанских устоев, но, столкнувшись с революционными реалиями, был вынужден умерить спесь и полноценно впрячься вторым

[1] Имеется в виду гимн «Боже, Царя храни!», написанный Алексеем Федоровичем Львовым и утвержденный Николаем I в 1833 году.

[2] Читайте повесть «Личный паноптикум».